

Николай Семенович Лесков

Овцебык

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Николай Семенович Лесков

Овцебык / Николай Семенович Лесков – М.: Книга по Требованию, 2011. – 54 с.

ISBN 978-5-4241-2449-5

Николай Семенович Лесков широко, объективно отразил в своих произведениях жизнь российского общества его эпохи - эпохи отмены крепостного права, пробуждения деловой активности масс, размежевания интеллигенции на разные идеологические "станы". Большое внимание уделял Лесков и русской старине, считая ценным для развития общества накопленный тысячелетиями народный опыт. Документальность многих его произведений сочетается с художественной выразительностью, психологической глубиной, яркостью языка.

ISBN 978-5-4241-2449-5

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011
© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Николай Лесков
Овцебык

Питается травой, а при недостатке ее и лишаями.
Из зоологии.

Глава первая

Когда я познакомился с Василием Петровичем, его уже звали «Овцебыком». Кличку эту ему дали потому, что его наружность необыкновенно напоминала овцебыка, которого можно видеть в иллюстрированном руководстве к зоологии Юлиана Симашки. Ему было двадцать восемь лет, а на вид казалось гораздо более. Это был не атлет, не богатырь, но человек очень сильный и здоровый, небольшого роста, коренастый и широкоплечий. Лицо у Василия Петровича было серое и круглое, но кругло было только одно лицо, а череп представлял странную уродливость. С первого взгляда он как будто напоминал несколько кафрский череп, но, всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни под одну френологическую систему. Прическу он носил такую, как будто нарочно хотел ввести всех в заблуждение о фигуре своего «верхнего этажа». Сзади он очень коротко выстригал весь затылок, а наперед от ушей его темно-каштановые волосы шли двумя длинными и густыми косицами. Василий Петрович обыкновенно крутил эти косицы, и они постоянно лежали свернутыми валиками на его висках, а на щеках загинались, напоминая собою рога того животного, в честь которого он получил свою кличку. Этим косицам Василий Петрович более всего был обязан своим сходством с овцебыком. В фигуре Василия Петровича, однако, не было ничего смешного. Человек, который встречался с ним в первый раз, видел только, что Василий Петрович, как говорится, «плохо скроен, да крепко шит», а взглядевшись в его карие, широко расставленные глаза, нельзя было не видеть в них здорового ума, воли и решительности. Характер Василия Петровича имел много оригинального. Отличительною его чертою была евангельская беззаботливость о себе. Сын сельского дьячка, выросший в горькой нужде и вдобавок еще рано осиротевший, он никогда не заботился не только о прочном улучшении своего существования, но даже никогда, кажется, не подумал о завтрашнем дне. Ему отдавать было нечего, но он способен был снять с себя последнюю рубашку и предполагал такую же способность в каждом из людей, с которыми сходилась, а всех остальных обыкновенно называл кратко и ясно «свиньями». Когда у Василия Петровича не было сапогов, то есть если сапоги его, как он выражался, «совсем разевали рот», то он шел ко мне или к вам, без всякой церемонии брал ваши запасные сапоги, если они ему кое-как всходили на ногу, а свои осметки оставлял вам на память. Дома ли вы или нет, Василию Петровичу это было все равно: он располагался у вас по-домашнему, брал, что ему нужно, всегда в возможно малом количестве, и иногда при встрече говорил, что он взял у вас табак, или чай, или сапоги, а чаще случалось, что и ничего не говорил о таких мелочах. Новой литературы он терпеть не мог и читал только евангелие да древних классиков; о женщинах не мог слышать никакого разговора, почитал их всех поголовно *дурами* и очень серьезно жалел, что его старуха мать – женщина, а не какое-нибудь бесполое существо. Самоотвержение Василия Петровича не имело границ. Он никогда не показывал кому-нибудь из нас, что он кого-нибудь любит; но все очень хорошо знали, что нет жертвы, которой бы Овцебык не принес для каждого из своих присных и знакомых. В готовности же его жертвовать собою за избранную идею никому и в голову не приходило сомневаться, но идею эту нелегко было отыскать под черепом нашего Овцебыка.

Он не смеялся над многими теориями, в которые мы тогда жарко верили, но глубоко и искренно презирал их.

Разговоров Овцебык не любил, делал все молча, и делал именно то, чего вы в данную минуту менее всего могли от него ожидать.

Как и почему он сошелся с маленьким кружком, к которому принадлежал и я во время моего непродолжительного житья в нашем губернском городе, — я не знаю. Овцебык года за три перед моим приездом окончил курс в курской семинарии. Мать, кормившая его крохами, собираемыми ради Христа, с нетерпением ждала, когда сын сделается попом и заживет на приходе с молодой женою. Но у сына и мысли не было о молодой жене. Жениться Василий Петрович не имел ни малейшего желания. Курс был окончен; мать все осведомлялась о невестах, а Василий Петрович молчал и в одно прекрасное утро исчез неизвестно куда. Только через полгода прислал он матери двадцать пять рублей и письмо, в котором уведомлял нищенствующую старуху, что он пришел в Казань и поступил в тамошнюю духовную академию. Как он дошел до Казани, отломав более тысячи верст, и каким образом достал двадцать пять рублей — это осталось неизвестным. Овцебык ни слова не написал об этом матери. Но не успела старуха порадоваться, что ее Вася будет когда-нибудь архиереем и она будет тогда жить у него в светлой комнатке с белой печкою и всякий день по два раза пить чай с изюмом, Вася как будто с неба упал — неожиданно-негаданно снова явился в Курске. Много его расспрашивали: что такое? как? отчего он вернулся? но узнали немного. «Не поладил», — коротко отвечал Овцебык, и больше от него ничего не могли добиться. Только одному человеку он сказал немножко более: «Не хочу я быть монахом», а больше уж никто от него ничего не добился.

Человек, которому Овцебык сказал более, чем всем прочим, был Яков Челновский, добрый, хороший малый, неспособный обидеть мухи и готовый на всякую службу ближнему. Челновский доводился мне родственником в каком-то далеком колене. У Челновского я и познакомился с коренастым героем моего рассказа.

Это было летом 1854 года. Мне нужно было хлопотать по процессу, производившемуся в курских присутственных местах.

В Курск я приехал в семь часов утра в мае месяце, прямо к Челновскому. Он в это время занимался приготовлением молодых людей в университет, давал уроки русского языка и истории в двух женских пансионах и жил не худо: имел порядочную квартиру в три комнаты с передней, изрядную библиотеку, мягкую мебель, несколько горшков экзотических растений и бульдога Бокса, с оскаленными зубами, весьма неприличной турнюрой и походкой, которая слегка смахивала на канкан.

Челновский чрезвычайно обрадовался моему приезду и взял с меня слово непременно остаться у него на все время моего пребывания в Курске. Сам он обыкновенно бегал целый день по урокам, а я то навещал гражданскую палату, то бродил без цели около Тускари или Сейма. Первую из этих рек вы совсем не встретите на многих картах России, а вторая славится особенно вкусными раками, но еще большую известность она приобрела через устроенную на ней шлюзовую систему, которая поглотила огромные капиталы, не освободив Сейма от репутации реки, «неудобной к судоходству».

Прошло недели две со дня приезда в Курск. Об Овцебыке никогда не заходи-

ло никакой речи, я и не подозревал вовсе существования такого странного зверя в пределах нашей черноземной полосы, избобилующей хлебом, нищими и ворами.

Однажды, усталый и измученный, возвратился я домой часу во втором пополудни. В передней меня встретил Бокс, стороживший наше жилище гораздо рачительнее, чем восемнадцатилетний мальчик, состоявший в должности нашего камердинера. На столе в зале лежал суконный картуз, истасканный донельзя; одна грязнейшая подтяжка с надвязанным на нее ремешком, просаленный черный платок, свитый жгутом, и тоненькая палочка из лесной орешины. Во второй комнате, заставленной книжными шкафами и довольно щеголеватую кабинетную мебелью, сидел на диване запыленный донельзя человек. На нем были ситцевая розовая рубашка и светло-желтые панталоны с протертыми коленями. Сапоги незнакомца были покрыты густым слоем белой шоссейной пыли, а на коленях у него лежала толстая книга, которую он читал, не нагиная головы. При входе моем в кабинет запыленная фигура бросила на меня один беглый взгляд и опять устремила глаза в книгу. В спальне все было в порядке. Полосатая холстинковая блуза Челновского, в которую он облачался тотчас по возвращении домой, висела на своем месте и свидетельствовала, что хозяина нет дома. Никак я не мог отгадать, кто этот странный гость, расположившийся так бесцеремонно. Свирепый Бокс смотрел на него как на своего человека и не ласкался только потому, что нежничанье, свойственное собакам французской породы, не в характере псов англо-саксонской собачьей расы. Прошел я опять в переднюю, имея две цели: во-первых, расспросить мальчика о госте, а во-вторых – вызвать своим появлением на какое-нибудь слово самого гостя. Мне не удалось ни то, ни другое. Передняя по-прежнему была пуста, а гость даже не поднял на меня глаз и спокойно сидел в том же положении, в котором я его застал пять минут назад. Оставалось одно средство: непосредственно обратиться к самому гостю.

– Вы, верно, Якова Иваныча дожидаете? – спросил я, остановясь перед незнакомцем.

Гость лениво взглянул на меня, потом встал с дивана, плюнул сквозь зубы, как умеют плевать только великорусские мещане да семинаристы, и проговорил густым басом: «Нет».

– Кого же вам угодно видеть? – спросил я, удивленный странным ответом.

– Я просто так зашел, – отвечал гость, шагая по комнате и закручивая свои косицы.

– Позвольте же узнать, с кем я имею честь говорить?

При этом я назвал свою фамилию и сказал, что я родственник Якова Ивановича.

– А я так просто, – отвечал гость и опять взялся за свою книгу.

Тем разговор и покончился. Оставив всякую попытку разрешить для себя появление этой личности, я закурил папироску и лег с книгою в руках на свою постель. Когда придешь из-под солнечного припека в чистую и прохладную комнату, где нет докучных мух, а есть опрятная постель, необыкновенно легко засыпается. В этот раз я дознал это на опыте и не заметил, как книга выскользнула у меня из рук. Сквозь сладкий сон, которым спят люди, полные надежд и упований, я слышал, как Челновский читал мальчику нотацию, к которым тот давно привык и не обращал на них никакого внимания. Полное же мое пробуждение совершилось только, когда мой родственник вошел в кабинет и крикнул:

– А! Овцебык! Какими судьбами?

– Пришел, – ответил гость на оригинальное приветствие.

– Знаю, что пришел, да откуда же? где побывал?

– Отсюда не видать.

– Эко шут какой! А давно припожаловать изволил? – спросил снова своего гостя Яков Иванович, входя в спальню. – Э! да ты спишь, – сказал он, обращаясь ко мне. – Вставай, брат, я тебе зверя покажу.

– Какого зверя? – спросил я, еще не совсем возвратясь к тому, что называют бдением, от того, что называется сном.

Челновский ничего мне не ответил, но снял сюртук и накинул свою блузу, что было делом одной минуты, вышел в кабинет и, таща оттуда за руку моего незнакомца, комически поклонился и, показывая рукою на упиравшегося гостя, проговорил:

– Честь имею рекомендовать – Овцебык. Питается травой, а при недостатке ее может есть лишай.

Я встал и протянул руку Овцебыку, который в продолжение всей рекомендации спокойно смотрел на густую ветку сирени, закрывавшей отворенное окно нашей спальни.

– Я вам уже рекомендовался, – сказал я Овцебыку.

– Слышал я это, – отвечал Овцебык, – а я кутейник Василий Богословский.

– Как, рекомендовался? – спросил Яков Иванович. – Разве вы уже виделись?

– Да, я застал здесь Василья... я не имею чести знать, как по батюшке?

– Петров был, – отвечал Богословский.

– Это он был, а теперь зови его просто «Овцебык».

– Мне все равно, как ни зовите.

– Э, нет, брат! Ты Овцебык есть, так тебе Овцебыком и быть.

Сели за стол. Василий Петрович налил себе рюмку водки, вылил ее в рот, подержав несколько секунд за скулою, и, проглотив ее, значительным образом взглянул на стоящую пред ним тарелку супу.

– А студень нет разве? – спросил он хозяина.

– Нет, брат, нету. Не ждали сегодня гостя дорогого, – отвечал Челновский, – и не приготовили.

– Сами могли есть.

– Мы и суп можем есть.

– Соусники! – прибавил Овцебык. – И гуся нет? – спросил он с еще большим удивлением, когда подали зразы.

– И гуся нет, – отвечал ему хозяин, улыбаясь своей ласковой улыбкой. – Завтра будет тебе и студень, и гусь, и каша с гусиным салом.

– Завтра – не сегодня.

– Ну что ж делать? А ты, верно, давно не ел гуся?

Овцебык посмотрел на него пристально и с выражением какого-то удовольствия проговорил:

– А ты спроси лучше, давно ли я что-нибудь ел.

– Ну-у!

– Четвертого дня вечером калач в Севске съел.

– В Севске?

Овцебык утвердительно махнул рукой.

– А ты чего был в Севске?

– Проходом шел.

– Да где же это тебя носило?

Овцебык остановил вилку, которою таскал в рот огромные куски зраз, опять пристально посмотрел на Челновского и, не отвечая на его вопрос, сказал:

– Аль ты нынче табак нюхал?

– Как табак нюхал?

Челновский и я расхохотались странному вопросу.

– Так.

– Да говори, милый зверь!

– Что язык-то у тебя свербит нынче.

– Да как же не спросить? Ведь целый месяц пропал.

– Пропал? – повторил Овцебык. – Я, брат, не пропаду, а пропаду, так не задаром.

– Проповедничество нас заело! – отозвался ко мне Челновский. – «Охота смертная, а участь горькая!» На торжищах и стогнах проповедовать в наш просвещенный век не дозволяется; в попы мы не можем идти, чтобы *не прикоснуться жене, аки сосуду змеи*, а в монахи идти тоже что-то мешает. Но уж что именно такое тут мешает – про то не знаю.

– И хорошо, что не знаешь.

– Отчего же хорошо? Чем больше знать, тем лучше.

– Поди сам в монахи, так и узнаешь.

– А ты не хочешь послужить человечеству своим опытом?

– Чужой опыт, брат, – пустое дело, – сказал оригинал, встав из-за стола и обтирая себе салфеткой целое лицо, покрывшееся потом от усердствования за обедом. Положив салфетку, он отправился в переднюю и достал там из своего пальто маленькую глиняную трубочку с черным обгрызанным чубучком и ситцевый кисетик; набил трубку, кисет положил в карман штанов и направился снова к передней.

– Кури здесь, – сказал ему Челновский.

– Расчихаетесь неравно. Головы заболят.

Овцебык стоял и улыбался. Я никогда не встречал человека, который бы так улыбался, как Богословский. Лицо его оставалось совершенно спокойным; ни одна черта не двигалась, и в глазах оставалось глубокое, грустное выражение, а между тем вы видели, что эти глаза смеются, и смеются самым добрым смехом, каким русский человек иногда потешается над самим собою и над своею долею.

– Новый Диоген! – сказал Челновский вслед вышедшему Овцебыку, – все люди евангельских ищут.

Мы закурили сигары и, улегшись на своих кроватях, толковали о различных человеческих странностях, приходивших нам в голову по поводу странностей Василия Петровича. Через четверть часа вошел и Василий Петрович. Он поставил свою трубочку на пол у печки, сел в ногах у Челновского и, почесав правую рукою левое плечо, сказал вполголоса:

– Кондиций искал.

– Когда? – спросил его Челновский.

– Да вот теперь.

– У кого ж ты искал?

- По дороге.
- Челновский опять засмеялся; но Овцебык не обращал на это никакого внимания.
- Ну, и что ж бог дал? – спросил его Челновский.
- Нет ни шиша.
- Да шутина ты этакой! Кто же ищет кондиций по дороге?
- Я заходил в помещичы дома, там спрашивал, – серьезно продолжал Овцебык.
- Ну и что же?
- Не берут.
- Да, разумеется, и не возьмут.
- Овцебык посмотрел на Челновского своим пристальным взглядом и тем же ровным тоном спросил:
- Почему же это и не возьмут?
- Потому, что с ветру пришлого человека, без рекомендации, не берут в дом.
- Я аттестат показывал.
- А в нем написано: «поведения довольно изрядного»?
- Ну так что ж? Я, брат, скажу тебе, что это все не оттого, а оттого что...
- Ты – Овцебык, – подсказал Челновский.
- Да, Овцебык, пожалуй.
- Что ж ты теперь думаешь делать?
- Думаю вот еще трубочку покурить, – отвечал Василий Петрович, вставая и снова принимаясь за свой чубучок.
- Да кури здесь.
- Не надо.
- Кури: ведь окно открыто.
- Не надо.
- Да что тебе, первый раз, что ли, курить у меня свой дюбек?
- Им будет неприятно, – сказал Овцебык, показывая на меня.
- Пожалуйста, курите, Василий Петрович; я – человек привыкший; для меня ни один дюбек ничего не значит.
- Да ведь у меня тот дубек, от которого черт убер, – отвечал Овцебык, налегая на букву у в слове *дубе* к, и в его добрых глазах опять мелькнула его симпатичная улыбка.
- Ну, а я не уберу.
- Значит, вы сильнее черта.
- На этот случай.
- Он о силе черта имеет самое высокое мнение, – сказал Челновский.
- Одна баба, брат, только злей черта.
- Василий Петрович напихал махоркою свою трубочку и, выпустив из рта тоненькую струйку едкого дыма, осадил пальцем горящий табак и сказал:
- Задачки стану переписывать.
- Какие задачки? – спросил Челновский, приставляя ладонь к своему уху.
- Задачки, задачки семинарские стану, мол, пока переписывать. Ну, тетрадки ученические, не понимаешь, что ли? – пояснил он.
- Понимаю теперь. Плохая, брат, работа.
- Все равно.

- Два целковых в месяц как раз заработаешь.
- Это мне все едино.
- Ну, а дальше что?
- Кондиции мне отыщи.
- Опять в деревню?
- В деревню лучше.
- И опять через неделю уйдешь. Ты знаешь, что он сделал прошлой весной, – сказал, обращаясь ко мне, Челновский. – Поставил я его на место, сто двадцать рублей в год платы, на всем готовом, с тем чтобы он приготовил ко второму классу гимназии одного мальчика. Справили ему все, что нужно, снарядили доброго молодца. Ну, думаю, на месте наш Овцебык! А он через месяц опять перед нами как вырос. Еще за свою науку и белье там оставил.
- Ну так что же, если нельзя было иначе, – сказал, нахмурясь, Овцебык и встал со стула.
- А спроси его, отчего нельзя? – сказал Челновский, снова обращаясь ко мне. – Оттого, что за волосенки пощипать мальчишку не позволили.
- Еще соври! – пробормотал Овцебык.
- Ну, а как же было?
- Так было, что иначе нельзя было.
- Овцебык остановился передо мною и, подумав с минутку, сказал:
- Вовсе особое дело было!
- Садитесь, Василий Петрович, – сказал я, подвигаясь на кровати.
- Нет, не надо. Вовсе особое дело, – начал он снова. – Мальчишке пятнадцатый год, а между тем уж он совсем дворянин, то есть бесстыжая шельма.
- Вот у нас как! – пошутил Челновский.
- Да, – продолжал Овцебык. – Повар у них был Егор, молодой парень. Женится он, взял дьячковскую дочь из нашего духовенного нищенства. Барчонок уж всему был обучен, и давай к ней лязгаться. А бабенка молодая, не из таковых; пожаловалась мужу, а муж – барыне. Та там что-то поговорила сыну, а он опять за свое. Так в другой раз, в третий – повар опять к барыне, что жене отбою нет от барчука, – опять ничего. Взяла меня досада. «Послушайте, – говорю ему, – если вы еще раз зашипнете Аленку, так я вас тресну». Покраснел от досады; разыграла благородная кровь, знаете; полетел к мамаше, а я за ним. Гляжу: она сидит в креслах, и тоже вся красная; а сын по-французски ей жалобу на меня расписывает. Как увидела меня, сейчас взяла его за руку и улыбается, черт знает чего. «Полно, говорит, мой друг. Василью Петровичу, верно, что-нибудь показалось; он шутит, и ты докажешь ему, что он ошибается». А сама, вижу, косится на меня. Малец мой пошел, а она, вместо того чтобы поговорить со мною о сыне, говорит: «Какой вы рыцарь, Василий Петрович! Уж не сердечная ли у вас зазнобушка?» Ну, а я этих вещей терпеть не могу, – сказал Овцебык, энергически махнув рукою. – Не могу я этого слушать, – повторил он еще раз, возвысив голос, и снова зашагал.
- Ну, вы тут же и оставили этот дом?
- Нет, через полтора месяца.
- И жили в ладу?
- Ну, я ни с кем не говорил.
- А за столом?

– Я с конторщиком обедал.

– Как с конторщиком?

– Просто сказать, на застойной. Да это мне ничего. Меня ведь обидеть нельзя.

– Как нельзя?

– А разумеется, нельзя... ну, да что об этом толковать... Только сию я раз после обеда под окном, Тацита читаю, а в людской, слышу, кто-то кричит. Что кричит – не разберу, а голос Аленкин. Барчук, думаю, верно забавляется. Встал, подхожу к людской. Слышу, Аленка плачет и сквозь слезы кричит: «стыдно вам», «бога вы не боитесь» и разное такое. Смотрю, Аленка стоит на чердаке над приставной лестницей, а малец мой под лестницей, так что бабе никак нельзя сойти. Стыдно... ну, знаете, как они ходят... просто. А он еще ее поддразнивает: «лезь, говорит, а то отставлю лестницу». Зло меня такое взяло, что я вошел в сени, да и дал ему затрещину.

– Такую, что у него из уха и из носа кровь хлынула, – засмеявшись, подсказал Челновский.

– Какая там на его долю выросла.

– Что же вам мать?

– Да я ее после не глядел. Я из людской прямо в Курск пошел.

– Сколько же это верст?

– Сто семьдесят; да хоть бы и тысяча семьсот, так это все равно.

Если бы вы видели в эту минуту Овцебыка, то не усомнились бы, что ему в самом деле *все равно*, сколько верст ни пройти и кому ни дать затрещину, если, по его соображениям, затрещину эту дать следует.